

Всеволод ИВАНОВ: ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ О НЕМ

Иногда возвращаемся в Переделкино поздно ночью.

Наша машина выскакивает на остатки той горы, которая когда-то называлась Поклонной и где будто бы Наполеон тщательно ждал делегацию московских граждан с ключами русской столицы. Гора почти скрыта и застроена новыми домами. Минское шоссе, широкое, тусклое, буро-серое, обсажено молодыми липами и лиственницами. Год от году тени этих деревьев все ближе и ближе тянутся к нашей машине. Но этой ночью по краям шоссе заметно лишь что-то пепельно-серое, не престанно колышущееся. Весь день была буря, и деревья, опьяневшие от ее неистовства, будут покачиваться всю ночь...

Мы спускаемся к насыпи пруда. Пруд — светло-сер, с легким красноватым налетом. Ветлы на насыпи широкие, древние. Парк по ту сторону пруда с огромными липами, кедрами, лиственницами, со старинным домом с колоннами, тоже очень широк. Под севедревьями тревожными ветлами шуют люди (с поезда и на поезд), и когда мы въезжаем на насыпь, огороженную белыми низкими столбиками с черной каемкой, я вижу в толпе бледное, с впавшими щеками и большими, широко открытыми глазами, лицо Пастернака. Поэт в короткой серой куртке и матерчатой белой шляпе, которая кажется чересчур маленькой по его большой голове. Весь день, с самого раннего утра, он трудился. Трудился до поздней ночи — переводил, писал стихи, письма. И вот, когда время подошло к полноте, он отправился гулять. Прохлада пруда, по видимому, влечет его, здесь ему легче дышится. Он идет, видя всех и никого не видя, все еще охваченный настроением высокой, сложной и в то же время простодушной работы.

И, глядя на него, я вспоминаю многие встречи с другими тружениками, знаменитыми и неизвестными, великими и невеликими, известными и неизвестными.

В самом начале 1921 года я вышел через Миллионную на Мойку против Придворных конюшен. Настала оттепель, дул влажный ветер, — и Мойка, и камни мостовой были покрыты ржаво-желтым налетом. Устав, я положил связку книг — ею наградили меня Горький, считавший, не без основания, что мои знания очень малы, — на каменную тумбу и задумался.

Меня всегда, и каждый раз по-разному, удивлял Горький. Сегодня он очень болен, — это заметно даже и моему, совсем неопытному взгляду. Лицо у него удлинилось, нос заострился и бровные дуги приподняты как-то странно и тревожно.

Но вот он коснулся рукой папки, где лежат рассказы молодых писателей, — и болезни словно не было. Одну за другой стал он вспоминать сцены — как начинали его современники, писатели, ныне известные всему читающему миру.

— Да вы поймите же, что они начинали гораздо сла-

нее! — воскликнул он радостно. — Вы все начали удивительно. И еще более удивительные дела ждут вас дальше — и поэтов, и писателей, и ученых, и самых обыкновенных крестьян и рабочих.

А как он пылливо глядел на каждую нашу рукопись, огорчился каждой нашей ошибкой, и какой грациозной представлялась ему композиция любого нашего рассказа, в котором, быть может, и не было ничего грациозного.

— Вы вошли в эпоху труда, помните это!

Грудь его высоко поднималась. Охваченный еще большим возбуждением, пронзительно глядя через окно на

бледные и крылатые деревья сада, Горький повел речь об ученых. Казалось, он знает каждую работу, каждого ученого, и он очень огорчился, если пропускал какую-либо работу. Он помнил их всех, — и тех, кто бывает в Доме ученых, и тех, кто по болезни или старости не в состоянии бывать в этом большом, теплом и очень гостеприимном доме. Ах, как дорого стоит государству гостеприимство в эти голодные, суровые дни! Но именно это-то гостеприимство даст в свое время великие плоды!

Глаза его сверкали. Радостно было наблюдать за всеми порывами этого пленительного ума, величавого сердца и безмерного трудолюбия.

— Иванов?

Высокий человек с резким голосом, раскинув длинные руки, подошел ко мне. Я был тогда секретарем Литературной студии и хорошо знал этого человека в коричневом пальто, барашковой шапке и синем шарфе с белой бахромой. Это был К. И. Чуковский. Указывая на своего спутника, он спросил:

— Не знакомы? Блок.

Блок изредка читал в нашей студии лекции, но по разным причинам я не мог быть на этих лекциях и видел его впервые.

— Вот здесь напротив жи-

вет некто Белицкий, — сказал Корней Иванович. — Он работает в Петрокоммуне. У него бывает серый хлеб, а иногда даже и белый. Так как вы оба голодны, и я тоже голоден, и так как вы оба не умеете говорить, а значит, будете мне мешать, я пойду к Белицкому и достану хлеба. И он скрылся в доме.

Блок стоял молча, не говоря ни слова. Он, по-видимому, думал о своем. Он работал и вряд ли видел меня. Я понимал это. Мне нисколько не было обидно, я не только не возмущался, а чувствовал восхищение. Вот стоит рядом величайший поэт России и работает! И тем, что вы не лезете к нему со словами восхищения, не пытаетесь его учить и поправлять, как это делают другие, а просто стараетесь тише дышать, вы тоже до какой-то

УЧИТЕЛЯ ГРОЗНОГО МУЖЕСТВА

степени помогаете ему. Глубокое молчание царило между нами. И, смею думать, мы оба наслаждались этим молчанием.

Колко дребезжа по намням мостовой, проехала мимо нас тяжелая телега, которую везла крайне тощая лошадь. Ясными и светлыми глазами она взглянула на нас. «Ну, что ж, если уж надо трудиться, давайте трудиться!» — говорил ее взгляд. Прошел очень приятный старичок с широчеными нарами и в рыжем котелке. Не доходя до нас несколько шагов, он вскрикнул, достал крошечный, необыкновенно чистый платок и вытер им не глаза, а сухонькие, тоненькие губы. Я знал этого старичка. Он читал в университете лекции по культуре Востока, и я советовался с ним, когда начал писать повесть «Возвращение Будды». Два дня назад у него умерла от тифа дочь, обладавшая редчайшей способностью к языкам. Старичок шел читать сейчас очередную лекцию.

Послышался резкий голос Чуковского:

— Достал!

Сняв небрежно мои книги, Корней Иванович положил на каменную тумбу буханку хлеба, вынул перочинный нож и разрезал ее пополам.

— Половину за то, что достал, получу я, — сказал он, и затем, отрезав от второй половины буханки небольшой кусочек, Корней Иванович с царственной щедростью протянул мне:

— Вам как начинающему писателю.

Остальное он отдал Блоку. Блок взял хлеб восковой, желтой рукой, вряд ли понимая, что он берет. Держа хлеб чуть на отлете, он ушел рядом с Корнеем «Ивановичем» вдоль Мойки, в сторону Дворцовой площади и Дома искусств...

У такой сырой и длинный месяц! Кажется, никогда не дожидешься его конца. То падает дождь, то завоет монрая вьюга, а за нею грянет мороз. Выйдешь на улицу — и хоть обратно в дом: облака перепутанные и такие низкие, что того и гляди снесут шапку. Улица кажется кривой и вдобавок бегающей куда-то под крутой уклон...

В Литературной студии читают лекции многие знаменитые писатели и критики Петрограда. В последнее время... слушатели стали исправно посещать лекции. Но дня два назад, когда начался Кронштадтский мятеж и ранним утром над городом про-

«Какая жалость, нет слушателей!» — думаю я.

— Никого? — говорит он, оглядывая комнату.

— Восстание, — отвечаю я извиняюще.

— А вы?

— Я секретарь студии.

— И слушатель?

— И слушатель.

Он глядит на меня задумчиво, и взор его говорит: «Это хорошо, что вы остались на посту поэзии. Поэзия, дорогой мой, не менее важна, чем склады с порохом, например. Охраняйте ее!»

И он вдруг спрашивает: — Разрешите прочесть лекцию вам?

Я важно сажусь за другой край стола; пространство между нами, кажется мне, еще более увеличивает силу того события, которое происходит. Блок раскрывает записки и читает медленно, не спеша, постепенно разгораясь. Он читает о французских романтиках, и каждое слово его говорит: «Они были прекрасны, несомненно, но разве мы с вами, молодой слушатель, менее прекрасны? Мы, вот здесь сидящие в холодной, сырой комнате, за тусклыми, несколько лет не мытыми стеклами? Разве мы не чудесны!» Я киваю головой каждому его слову и про себя говорю: «Мы с вами достойны звания людей!» Он мне возражает: «Но разве мы одни, — нас множество, мой молодой друг!» И я покорно ему отвечаю: «Да, нас множество. Мы — трудимся». «И ведь правда, какой у нас отличный, прозрачно-прекрасный труд! И как я люблю его! А вы?»

По расписанию Блок должен был читать час. Через сорок минут после начала чтения он позволил себе немножко передохнуть. Отодвинув в сторону записки, он, поживаясь, поднялся:

— Однако у вас тут холодно.

— Сыро.

— И сыро.

Он читал еще сорок пять минут. Перед продолжением чтения я заметил, что чернила в нашей чернильнице замерзли. Как же будет расписываться Блок? И я взял чернильницу в руки. Блок расписался в ведомости; я был очень доволен, что чернил на его перо собралось достаточно. Затем он молча пожал мою руку и медленным шагом покинул комнату.

Вскоре после Блока поспешно вбежал критик, в свое время довольно известный.

— Никого? — спросил он.

— Никого, — ответил я, и тут же добавил не без гордости: «Только что мне одному Александр Блок прочел лекцию о французских романтиках».

— Ну, он читает о романтиках, а я вам о русском реализме. Будем на реалистами. Дайте ведомости!

Он расписался и, возвращая мне ведомость, сказал:

— А там, где стоит час, поставьте, что я вам читал два часа. Не все ли равно? Во время восстания, если я вам и двадцать часов подряд буду читать о реализме, вы ничего не поймете.

— Это еще неизвестно!

...Блок, Горький — какие учителя и спутники гибкого и грозного мужества наших дней!

<1957 г.>
Публикация Т. В. ИВАНОВОЙ



Первая ударная бригада писателей в Туркменистане. Слева направо: Леонид Леонов, Петр Павленко, Всеволод Иванов, Владимир Луговской, Николай Тихонов. Март — май 1930 г. Фото из архива Вс. ИВАНОВА

«ПАЛЬМА В СИБИРИ НЕ ВОДИТСЯ» Виктор ШКЛОВСКИЙ

дорога антиколчаковского подполья. А впереди долгий литературный труд — первооткрывателя Сибири.

В прошлом веке по глубокому и вязким колеям Сибири проехал на Сахалин Чехов. Во все стороны простиралась перед ним огромная неведомая страна. Она оживала то в темных слухах, то в лихих песнях, то в смелых пророчествах. По доброй или злой воле в Сибири оказывались люди замечательные. Но литературно Сибирь оставалась невыраженной.

Всеволод вспоминал, как мальчишкой увидел в тайге медведя. Затрещали деревья, зверь шел напролом. Отец с топором наотмашь встал впереди жены и детей, и медведь, мотая головой, прошел мимо. Эта своеобразная медвежья страна с мужицкими топорами, которая не покорила бронированной мощи Колчака, была сурово и гравдиво рассказана Всеволодом Ивановым.

«Люди вокруг огромные, — замечает он, — широкие, как земля, из твердого мяса сбитые». Эти люди пришли в литературу из жизни, полной трагических противоречий, где новое не дается готовым, а медленно подымая плиты, вырастает из старого. В рассказе «Дите» казаки подбирают ребенка убитых ими врагов, находят ему кормилицу. Но им

кажется, что она недокармливает «их» дите, чтобы больше досталось ее собственному сыну. И они отнимают у матери ее ребенка. Они добры и жестоки одновременно. Их путь в новую жизнь отягчен прошлым.

Был у Брет-Гарта рассказ о том, как появление ребенка облагораживает целый поселок — золотопромышленников. Эти дьяволы с револьверами, годные для немедленной свемки в фильме ужасов, мгновенно перестраиваются. Вероятно, даже перестают кашлять. Всеволод много читал, но писал не по читанному, а по пережитому.

Широкая известность выпала на долю «Партизанских повестей» Всеволода Иванова с их светлой героикой революционной борьбы. Удивил всех Всеволод спокойным началом одной повести. Партизаны берут в плен американского солдата. Они полагают, что раз истина одна, все должны быть согласны с нами. По картинке партизаны объясняют пленному, что такое революция. И «распропагандировав» его, отпускают, даже не завязав глаза.

Люди революции были суровы, но доверчивы... Всеволод Иванов — художник неожиданный. Он поразил нас, своих слушателей, — и Федина, и Тихонова, и Зоцен-

ко, и юного Вениамина Каверина — первым же прочитанным рассказом, первой же его фразой. Мы запомнили ее со слуха и часто потом повторяли. Казалось, что запомнили правильно. «В Сибири пальмы не растут!» Но сейчас, перечитывая старый рассказ, замечаю, что у Всеволода эта фраза звучит еще неожиданнее, сложнее: «Пальма в Сибири не водится...» У Всеволода Сибирь — деревьями — населена. Как людьми, — населена зверем, реками, облаками.

В Сибири, показал нам Всеволод, не только не водится пальма, но и сосна живет по-своему. И люди вырастают по-своему, на свой лад мечтают о счастье. Этой мечтой осенено все творчество писателя.

Человечество вообще нетерпеливо. Оно жаждет немедленного счастья. А настоящее счастье добывается трудно. У Всеволода был рассказ «Седьмой берег». Название взято из легенды. Богатырь переплывает три реки: реку рождения, реку учения и реку работы. Только после этого он выходит на берег реки счастья — на седьмой берег. По рассказу был назван сборник. Но затем Всеволод из сборника рассказ вынул, а название оставил. Он думал, что критики знают легенду и растолкуют название. Но он преувеличил знания кри-

тиков и их заинтересованность. Критики вообще могли бы быть зорче. Кажется, Всеволод все еще не прочитан до конца. За ним не только настоящее и прошлое. За ним — будущее. Это как в жизни.

Есть писатели однократные, писатели первой и единственной книги. Такую книгу писать легче, она пишется опытом жизни. Вторая книга требует зрелого мастерства. А оно приходит не ко всем. И есть писатели многократные. Таким писателем и был Всеволод Иванов. Всякий раз он начинал заново, и я до сих пор жду нового его понимания.

Когда мы были молоды, мы говорили друг другу при встрече: «Здравствуй, брат! Писать трудно...» С годами Всеволоду не писалось легче. Его «Бронепоезд» появился в советской литературе очень рано, и он определил ход литературы, становление ее нового лица. Может быть, от писателя ждали повторений. Но он не позволял себе повторяться, не стал маститым, искал новые пласты материала, новые приемы работы. Поражало его разнообразие. В беспощадном реализме Всеволода Иванова угадываются черты будущего Платонова. Последние вещи заставляют вспомнить Петронию, Честертона...

Уже далеко за шестьдесят было Всеволоду, когда он прошел на лодке по опасной сибирской реке восемьсот километров. Я слышал, как рассказывал он об этом путешествии. Необыкновенно живо, талантливо, внелитературно. Он оставался молодым в искусстве. Буду точен: это было в 1962 году, за год до его смерти.

Всеволод был человек огромного художественного темперамента, соединенного со спокойствием Будды, самоуглубленный, свободный, сотворенный природой так, как она спокойно творит китов и кристаллы.

Он был вне конъюнктур и всегда был в революции. Думаю о Всеволоде Иванове, о его пути к седьмому берегу, вспоминаю...

Счастье — трудная вещь. Память о счастье — тоже труд-